МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГРУЗИН С ТРУБКОЙ

Хржановский А.Ю. (Москва)

Нет-нет, вы не могли меня заподозрить в симпатии к тому «крупному менеджеру», в любви к которому расписалась половина нашей страны. Речь пойдет как раз о том великом грузине, чьи родственники сами пострадали от убийственной, в прямом смысле этого слова, деятельности вышеупомянутого «менеджера». О философе и ученом, все профессиональные и человеческие усилия которого как раз были направлены на развитие задавленных в нашем обществе ростков свободы. Тот, о ком я хочу рассказать, тоже был грузином и курил трубку (об истории, прямо связанной с этим его увлечением, я расскажу чуть позже). Долгие годы он оставался символом просвещенности, лидером интеллектуальной элиты, причем не только грузинской и российской, но и мировой. После того как были отменены ограничения и запреты советской власти, он стал много путешествовать: зарубежные университеты и философские общества наперебой стали приглашать Мераба Мамардашвили с лекциями и докладами, благо, он владел в совершенстве несколькими иностранными языками.

Как надо было знать, например, французский, чтобы не только читать в подлиннике многотомный роман Марселя Пруста, но и написать на основании философско-психолого-лингвистического анализа масштабное исследование о «Поисках утраченного времени». Кстати, обильно цитируемые отрывки из романа приводятся Мерабом Константиновичем в собственном переводе.

И вот тут я хотел сказать то, ради чего, собственно, я взялся за перо. Если у тебя, дорогой читатель, еще остались силы после чтения Устиновой и Донцовой и просмотра «Глухаря» — употреби их с пользой для ума и сердца. Ибо чтение книги Мераба Мамардашвили «Лекции о Прусте» для людей, не являющихся умственными уродами, может представиться совершенно упоительным занятием.

Вы можете убедиться в этом, прочтя хотя бы несколько отрывков из «Лекций о Прусте». Например, вот эти.

«...Каждый — читатель самого себя... Роман Пруста — это предложение читателю воспользоваться им для того, чтобы ре-

шать собственные задачи; поэтому читатель может воспользоваться им произвольно, как своего рода машиной, которая производит какие-то эффекты, и читатель может ее использовать, чтобы в себе самом произвести какие-то эффекты. Такова его идея «произведения-машины» <...>. У Пруста роман строится как бы клочками, в нем нет никакой единой временной линии, сама форма позволяет осуществлять переход из одного времени в другое <...>. Роман Пруста — машина рождения. В том числе другого человека, который не написал или не писал романа, то есть и нас, если мы внимательно читаем...»

Как, вы еще не держите в руках том Пруста? Мне лично после такого разъяснения трудно было воздержаться от соблазна время от времени брать в руки любой из томов романа или «Лекций» о нем М. Мамардашвили, чтобы «решать собственные задачи».

Цитировать Мераба можно бесконечно, как пересказывать любимые фильмы. Чтение его трудов доставляет радость почти физическую, не говоря о пользе такого занятия, ибо, как мы помним, «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» (А. Пушкин).

Нас, обывателей, обычно страшит и отпугивает слово «философия». Книги же М. Мамардашвили читаются с относительной легкостью еще, может быть, потому, что в них, помимо следования «мыслям великого человека», есть еще и свет какого-то сугубо личного отношения автора к тому, о чем он пишет; так что, читая их, ты погружаешься в нечто сокровенное, личное, как это бывает при чтении талантливо написанного дневника или мемуаров.

Между прочим, к подобным мемуарам можно отнести книгу известной сценаристки Наталии Рязанцевой «Не говори маме». (Читателю должно быть известно имя Н. Рязанцевой как автора сценариев замечательных фильмов «Долгие проводы» К. Муратовой, «Чужие письма» и «Голос» И. Авербаха и других.)

Наташа была замужем (последовательно) за художниками, чье творчество во многом определило картину нашего киноискусства 60–70-х годов, — Геннадием Шпаликовым и Ильей Авербахом. Мераб Мамардашвили, как и мы, был другом Рязанцевой и Авербаха. Видимо, это обстоятельство предопределило неизбежность и нашего знакомства с Мерабом.

Так или иначе, однажды на пороге дома в Переделкине, часть которого мы снимали на лето, появилась элегантная, как всегда,

Наташа в шоферских перчатках с вырезами, приведших в восторженный трепет нашего малолетнего тогда сына. Рядом с Наташей стоял высокий господин, чей белый летний костюм так хорошо гармонировал с его внешностью, а главное, с нарядом Наташи. На лице господина — чуть заметная застенчивая улыбка: улыбались только глаза в массивной роговой оправе.

Но главное — огромный лоб. Я с детства помнил сравнение, которым наградил выдающийся музыкант и педагог Генрих Густавович Нейгауз своего любимого ученика Святослава Рихтера. Вернее, не его, а его череп.

Нейгауз писал, что череп Рихтера величествен, округл и прекрасен, как купол собора Святого Петра в Риме — шедевр великих зодчих Браманте и Микеланджело. (С тех пор, признаться, каждый раз, присутствуя на концертах Рихтера, я неизменно вспоминал очертания этого собора, а заодно и облик любимого мною Н.В. Гоголя, который, как никто другой, превосходно описал этот собор и его купол. Вот куда заводит нас порой «машина ассоциаций»!)

Так вот — череп нашего гостя, его лоб ничуть не уступали канону великих зодчих Возрождения.

— Знакомьтесь, это Мераб, — сказала Наташа, видимо уже привыкшая к тому, что у каждого, кому она представляет Мераба, на мгновение останавливается дыхание — нет, не из пиетета перед человеком, с которым было заочно знакомо, кажется, все наше поколение, а от восхищения его обликом — физическим, сказал бы я, если бы этот физический облик не сопровождала какая-то духовная эманация. Слово «обаяние» кажется почему-то слишком бытовым и неточным.

Я уже сказал о застенчивой улыбке Мераба. К этому надо прибавить невероятно изящную пластику, какую не часто встретишь у физически крупного человека. Возможно, именно высокий рост и крепкое сложение приучили Мераба к легкой, какой-то вкрадчивой походке, какую можно наблюдать у крупных зверей из отряда кошачьих. И очень тихий и при этом очень отчетливый голос. Я имею в виду артикуляцию, достойную профессионального лектора...

Эта встреча, которую запомнили, как оказалось, не только мы, но и Мераб, стала началом нашего знакомства, переросшего в сердечные отношения. Выяснилось, что Мераб видел и лестным для меня образом высоко оценил мои фильмы. Выяснилось также, что у нас немало общих знакомых. К их числу надо

отнести прежде всего нашего друга Натана Эйдельмана. Я знал, что каждый из них читал лекции на Высших курсах сценаристов и режиссеров, где преподавал и я. Однажды я присутствовал в аудитории во время жаркого диспута между М. Мамардашвили и Н. Эйдельманом на тему «История и философия». После диспута слушатели задавали вопросы. Спросил о чем-то и я. И был поражен тем, насколько ответ был вразумительнее и яснее вопроса. Как Мерабу удавалось говорить о сложнейших вещах с такой удивительной, я бы сказал, прозрачной простотой — было для меня всегда одной из главных загадок.

Помимо встреч у нас дома или у друзей Мераба Ю. Сенокосова и Е. Немировской, у которых он обычно останавливался, бывая в Москве, мы не раз встречались на концертах (на одном из них, помню, исполнялись сочинения нашего друга Альфреда Шнитке) и на приемах в английском посольстве. Приемы эти тоже были, как правило, связаны с какими-либо музыкальными событиями. Посол сэра Родриг Брайдсвей оказался не просто страстным меломаном, но и сам превосходно играл на скрипке. Во время этих встреч мы снова были в обществе Мераба. Могу засвидетельствовать, что более легкого и приятного собеседника, чем Мераб, на темы отнюдь не философские мне встречать не приходилось. Так же, как более тонкого ценителя и знатока различных сортов виски.

Запомнился день рождения Мераба, последний в его жизни. Пил Мераб с таким же мастерством и вкусом, как и философствовал. И на сей раз он оставался трезвее других, в том числе своих давних друзей по Институту международного рабочего движения и по редакции журнала «Вопросы социализма», располагавшегося в Праге, — Бориса Грушина и Владимира Лукина.

Не помню, чем мы одарили тогда Мераба, зато хорошо помню его подарок. Видя мое восхищение набором курительных трубок и инструментом для их обслуживания, выложенных на столе, он тут же выдал мне трубку, набил ее ароматным голландским табаком и подарил складной набор для заправки и чистки трубки. Мы беседовали, попыхивая трубками. А когда пришла пора выбить остатки табака и прочистить трубку перед тем, как набить ее заново, я протянул механически руку и взял один из двух наборов, лежавших на столе между мной и Мерабом. Он тем же жестом протянул руку и мягким, но решительным движением взял набор из моих рук.

Я посмотрел на него с нескрываемым удивлением.

— Извини, но это — мое, — сказал он так же спокойно и мягко.

— Да, но какая разница? Ведь они абсолютно одинаковые.

— В этом смысле разницы действительно никакой. А разница в том, что это — мое, а это — твое. Ведь у тебя есть свой набор, который я тебе только что подарил...

— Да, но... какая разница? — продолжал упорствовать я в своем искреннем непонимании.

— Разница в том, что твое — это твое, а мое — это мое, — уже более твердым голосом произнес мой друг.

Так я получил наглядный урок уважения к частной собственности.

Этот день рождения был для Мераба пятьдесят девятым. И поскольку было известно, что дни рождения Мераба и Маши, моей жены, отстоят друг от друга всего на несколько дней и 10 лет, а будущий год для обоих должен был стать юбилейным, условились, что эти два юбилея мы будем «справлять» вместе — так предложил Мераб.

Увы, этому не суждено было сбыться.

Мераб Константинович Мамардашвили умер от приступа острой сердечной недостаточности, в московском аэропорту «Внуково», откуда он должен был лететь в свой родной Тбилиси.

Казалось бы, профессия и весь следующий из этого склад природы должен был бы оберегать философа от острых переживаний и потрясений. Но все знавшие Мераба не могли не видеть, с какой взволнованностью, тревогой и болью переживал он все происходящее на его исторической родине.

Должно быть, он не раз вспоминал в последние годы своего великого предшественника и коллегу Аристотеля, который, увидев тень воина — иноземца на земле, в том месте, где философ возводил чертеж своих доказательств, только и мог воскликнуть: «Не тронь мои чертежи...»

Но история Новейшего времени — это тотальное наступление варваров на просвещение, воинствующего невежества и мещанства на культуру.

66-й сонет Шекспира мог быть если не написан в стихах, то изложен в прозе Мерабом Мамардашвили. Как и строки Пастернака:

В наши дни и воздух пахнет смертью.

Открыть окно — что жилы отворить.